ШАТКОВ,

или Жизнь поэта

1

Это только кажется, что в центре Москвы все древние столетние и двухсотлетние дома скуплены новыми русскими, расселены, отреставрированы, реконструированы и перепланированы под современные потребности и стиль. И сегодня ещё в московских кривых, сохранивших с незапамятных времён своё специфическое очарование, переулочках можно найти те непотребные коммуналки с десятком хозяек на кухне, бесконечными коридорами, кошмарными подвалами с привидениями и застеклёнными переходами с этажа на этаж и из дома в дом, которые мне памятны с молодости. В одном из таких домов в районе Киевского вокзала жил когда-то знаменитый на весь московский литературный мир поэт-шестидесятник Коля Шатков.

Я не москвич, я всё реже и реже бываю в Москве, и мне все труднее и труднее говорить о ней как о знакомом и любимом городе. Если и приходится ехать в Москву раз в полгода на какую-нибудь конференцию или деловую встречу, то выбираешь маршрут передвижений настолько оптимально, что уже ни лишних лиц, ни новых строений, ни клочка московского неба не видишь. А полвека назад было все по-другому: на концерты, премьеры и выставки мы из Горького за четыреста верст запросто ездили. Да что там на премьеры – постричься в парикмахерской и то некоторые умудрялись в Москву сгонять, как на базар

за картошкой. А сейчас и электрички быстрее ходят, и комфортнее в этих «Сапсанах» и «Стрижах», а привлекательность и притягательность у Москвы пропала. И не потому, что продуктов и товаров у нас теперь тоже – не выкупишь. И не потому, что… Я знаю почему, но про это в другой раз.

Мне очень нравится сентенция Папы Хема по поводу мальчика, решившего, что он уже мужчина, и теперь он всегда должен быть готов, в случае необходимости, убить человека и быть уверенным, что сумеет это сделать. Аппроксимировать эту мысль можно на многие виды человеческой деятельности, и в литературе это значит, что став писателем, надо сразу попытаться осознать, что Гомер, Шекспир и Пушкин это всего лишь твои товарищи по цеху, в крайнем случае – учителя, но никак не кумиры, которых нельзя хаять. Как и в спорте: начинающий атлет должен сразу ориентироваться на мировые или всероссийские рекорды, а не на победу в школьных соревнованиях.

В числе многих достоинств, которые я потерял за последние пятьдесят лет, есть и достаточно замечательные. Особо мне бы хотелось отметить, что у меня когда-то была прекрасная память на стихотворные тексты и что я довольно быстро в молодости читал, схватывая при этом не только сюжетную линию, но и отдельные острые эпизоды текста, дословно запоминая их. Таким образом к двадцати пяти годам я освоил тысячу лучших книг всех времён и народов, знал наизусть тысячу чужих стихотворений и имел в кармане тетрадку с полусотней своих стихотворений, за которые мне было в то время не стыдно.

Я рванул в Москву с этим багажом, не имея четкого плана действий и помня только то, что мне надо попасть к Коле Шаткову, гениальному поэту, другу всех современных ему гениальных поэтов и прекрасному учителю. Объясню, откуда у меня такая информация образовалась о неведомом мне человеке.

Как-то мне негаданно повезло, когда, приехав отдохнуть в Крым, я снял за «рубль за ночь» странное помещение у старой хромой гречанки с бельмом на одном глазу. Помещение это было, скорее всего, сараем, потому что в нем ещё хранились дрова, оставшиеся с зимы. Хотя дрова меня не смущали – смутили небольшие животные, которые начали бегать по мне, как только я вечером погасил свет и лёг спать. Слегка заволновавшись, я вышел в сад: хозяйка сидела на открытой веранде с другими своими постояльцами, где они смотрели телевизор и пили чай. Я пожаловался ей на встреченные неудобства. «Это мышки!» – объяснила мне одноглазая старуха. Но я-то уже понял, что это не мышки: размером эти животные были с трёхмесячных котят и с такими же острыми коготками. Хозяйка со мной не спорила: она поставила мне под густой и раскидистой алычой раскладушку, на которой я и прожил все две недели.

Но повезло мне не с раскладушкой, а с ребятами, которые жили у этой старухи в доме. Это были два тридцатилетних профессора физика-теоретика из Ленинграда, они приехали в Коктебель, или, как его тогда называли, – Планерское, отдыхать с женами. Ребята были весёлые, эрудированные, энергичные, в головах у них постоянно, и день и ночь, варились какие-то идеи. Жёны их были также спортивно-подтянутые, начитанные, интересные. Они меня как-то сразу же приняли в свою компанию.

Расставаясь через две недели, я оставил на память одному из этих молодых профессоров свою тетрадку, которую без всякой задней мыс-

ли подписал «Оправдание любви». Ну и адресами мы поменялись тоже. Каково же было моё удивление, когда через месяц я получил из Ленинграда письмо от Михаила Александровича Дудина, мэтра советской поэзии. В доказательство того, что это мэтр, могу заметить, что поэтов, Героев Социалистического Труда, можно пересчитать по пальцам. Я рискую затянуть экспозицию рассказа о поэте Шаткове, и тем не менее приведу это письмо почти дословно, чтобы пояснить, что меня подвигло на знакомство с ним. Тем более, что письмо было сумбурное, с непонятными для меня отсылками и намёками.

«Дорогой Фёдор!

Мне вчера передали уйму Ваших стихов, и я посмотрел их на ночь, а сегодня с утра прошелся ещё раз глазами по рукописи. Наверное, можно было бы кое-что отобрать и предложить “Авроре”, но это для Вас не главное: видимо, и без меня Вы печатаетесь. Когда я увидел название Вашей книги “Оправдание любви”, я представил себе Ваше содержание, вернее, содержание Ваших стихов шире, объемнее. “Как будто жизнь и смерть вселенной сейчас зависит от него”, – это было писано в 1944 году, по кровоточащим следам войны, но ведь сейчас Ваша любовь, любовь Ваших стихов должна быть, обязательно должна быть шире и, естественно, во много раз ответственнее. Любить – значит отвечать за то, что ты любишь, по-другому это чувство я воспринимать не могу и не имею на это никаких человеческих прав.

Так думал я вначале, так мне хотелось думать, но внутренний Ваш мир оказался, к сожалению беднее этого хотения, несмотря на свою потенциальность.,

Художник – думаю – складывается из таланта, синяков и шишек, из собственного опыта познания жизни и любви к этому удивительному миру.

У Вас все это есть. Не хватает Вам, как мне кажется, дерзания поставить перед собой что-то грандиозное, например, идею спасения Земли, прародительницы жизни, и чтобы эта мысль пронизывала всё. Тогда, наверное, вы увидите “Оправдание любви” в более конкретном её приложении к своей судьбе и к судьбе окружающего Вас мира.

Вот, пожалуй, и всё.

Подумайте об этом.

Попробуйте подходить ко всему с точки зрения РОДСТВА, а не различия. Может быть, на этом пути что-нибудь и найдёте достойного для своей души, и через неё для всех.

Небольшую подборку Ваших стихов я порекомендую в редакцию “Авроры”.

И ещё: загадаю я Вам загадку-задание: познакомьтесь с поэтом Николаем Шатковым и попробуйте понять – в чем его ошибка!

М. Дудин»

Это письмо знаменовало для меня три важных жизненных события: первая публикация в авторитетном литературном журнале, начало многолетней переписки с одним из замечательных советских поэтов и поиск выходов на загадочного Николая Шаткова.

То, что он загадочный, стало мне ясно почти сразу же: у кого бы я ни спрашивал, все о нём слышали, но никто не был с ним знаком и ни у кого не было знакомых, которые были бы с ним знакомы. А кроме того, у меня создалось впечатление, что я вообще единственный человек, кто о Шаткове услышал только что: остальным он был давно известен, и известен как фигура загадочная. В библиотеке я не нашел ни одной

книги стихов Николая Шаткова и ни одной журнальной публикации. Хотя люди, которым я задавал вопросы об этом мифическом поэте, смотрели на меня недоуменно, будто я пытался выяснить год гибели Гумилёва или имена детей Пушкина.

И чем дальше, тем расплывчатее становилась для меня его загадочная фигура: возраст его колебался теперь уже от пятидесяти до ста пятидесяти лет, а круг людей, пользовавшихся его советами, распростерся от Гоголя и Сталина до Пастернака и Ахмадулиной. И я понял, что мне надо делать, и рванул в Москву.

2

У моей молодости были два прекрасных качества – это молодость и нахальство. Не имея никакого понятия о литературной жизни столицы, я решил начать поиски поэта Шаткова с Центрального Дома литераторов. Халдею, с видом отставного полковника стоявшему на воротах этого замечательного учреждения, я произнёс убийственную булгаковскую фразу: «Мне назначено!» и уже через пять минут покупал пиво в нижнем буфете.

Приглушенное освещение, дубовые панели, в воздухе запах дорогого трубочного табака, карикатурная своей колоритной внешностью писательская братия. Бороды, свитера, бесформенные пиджаки, обнимания, целования, сочувственное и многозначительное, но ничего не обещающее внимание. Именно в буфете это выглядело болезненно и смешно.

В зале свободных столиков было полно, пишущая братия ещё целиком не проснулась. Одна фигура показалась мне знакомой, знакомой не вживую, а по фотографиям, это был Андрей Вознесенский. Он сидел за столиком с каким-то типом художественного склада: грива нерасчесанных волос, свалявшихся чуть не в валенок, и огромные выпученные глаза, налившиеся кровью. Я вежливо кивнул Андрею, на что он буркнул:

– Привет, старик! Садись с нами.

За кого он меня принял – не знаю, но я повиновался и занял место за их столиком. Далее на меня Андрей внимания не обращал. Он был перевозбужден, весь напичкан растрёпанными чувствами, не очень пьяный, а вот то, что он не спал больше суток, было очевидно, и ночное гуляние продолжалось, но не с тем уже темпераментом, а потому затухало.

Собеседники меня не воспринимали и, по-моему, даже не видели. Потом я понял, что они и друг друга-то не видят, это состояние называется «остекленение» и возникает оно при длительном недосыпе и постоянном, но аккуратном употреблении спиртного. За те пятнадцать минут, что я просидел с ними за столом, было произнесено немного слов, и все они принадлежали Андрею. Он качал головой, пытался плакать и повторял, упершись невидящим взором в пустые глаза своего визави:

– Вы меня увели!

Он повторял эту фразу одним и тем же тоном через основательные промежутки времени. Лохматый товарищ его молчал. Андрей повторил эту фразу раз десять, пока что-то в нем не переключилось, и вдруг он опять заметил меня и улыбнулся широкой и очень натянутой улыбкой:

– Лучше бы я стал Колей Шатковым! Правильно, старик? – это он ко мне. – А так – они меня увели! Увели, как цыгане коня из стойла. А ведь не цыгане. Говорил мне Борис Леонидович, что «они тебя уведут», а я не понимал. А вот теперь понял, что они меня увели. А как тебя зовут?

– Фёдор, – ответил я.

– О-о! – до чего загулял – имена забывать начал. А откуда ты, я что-то не помню?

– Из Горького я. С Колей Шатковым приехал познакомиться, – почему-то ворочая на «о» и заикаясь, ответил я.

– Из Горького? Юрке Адрианову привет. Вот тебе пропуск в театр на два лица, Генка тоже придёт, – он кивнул на нашего лохматого соседа. – Вы не знакомы? Это замечательный московский поэт-концептуалист Генрих Сагир. После спектакля он тебя отведёт к Шаткову, обсудите с ним постановку. Завтра напишешь ругательную рецензию и отдашь её Шаткову. Всё! Я пошел к Мессереру на Поварскую – буду сутки спать.

Он протянул мне контрамарку с эмблемой Театра на Таганке, а сам не прощаясь пошёл на выход. Легкость была в его походке, и я даже засомневался: а почему это я решил, что он пьян? Но, оглянувшись на наш столик, я понял, что ошибки быть не могло: Генрих Сагир, бросив свою нечесаную копну на руки, спал.

Вечером мы с Генрихом встретились у входа в театр. Театр на Таганке продолжал оставаться модной столичной фишкой, и командировочные пытались стрельнуть лишний билетик ещё на ступеньках эскалатора метро. Генрих был уже не в грязной рубашке, а в свитере крупной вязки, надетом на голое тело, и прическа у него была уже чуть-чуть поприличнее, и пахло от него недавно выкуренной трубкой и одеколоном. Вот дешёвым одеколоном или дорогим, не могу сказать: терпеть не могу ни тот ни другой после того, как узнал, что вся парфюмерия изготавливается на основе амбры, то есть из какашек кашалотов.

Спектакль «Только телеграммы» оказался скучным, тягомотным, надуманным, и не только на мой взгляд: в зале мухи дохли, и люди уходили, не дождавшись конца пьесы. Мне, уже не раз бывавшему на спектаклях «на Таганке» и влюблённому в театральную эстетику Любимова, спектакль показался вообще чем-то чужеродным в этих стенах. Разгадка лежала на поверхности: постановщиком был варяг, не имевший никакого отношения ни к театру, ни к театральной труппе, и артисты не понимали его.

Мы с Генрихом, которого я уже звал Геной, тоже не дождались конца пьесы и отправились перекусить в ближайший ресторанчик, который специализировался на обслуживании таксистов. Это было понятно и по меню, которое на руки клиентам не выдавали, и по пластиковым столикам без скатертей, которые официантки протирали влажными вонючими тряпками. Сагира здесь знали, потому что он на ходу бросил официантке: «Бутылку коньяку и два бефстроганова с пюре».

Мы плюхнулись за угловой столик. Точнее, я аккуратно сел, а вот Сагир плюхнулся и тут же тихонечко захрапел, прикрыв свои огромные глаза тяжёлыми веками. Веки плотно не сходились, и в щелочки матово и зловеще поблескивали спящие белки. Я пытался что-то спросить у Сагира, тормошил его за плечо – все было бессмысленно, мой новый друг крепко спал. Я уже подумывал, не придется ли мне уходить из этого заведения одному, когда появилась официантка с подносом. Глаза Гены тут же открылись и вполне осмысленно изучили официантку, меня и остановились на бутылке коньяка и стаканах.

Он налил в них по глотку и, разглядывая сквозь свой стакан полупустой зал, спросил:

– А зачем тебе Коля Шатков?

– Не знаю. Мне Дудин Михаил Александрович велел с ним познакомиться.

– Дудин – старый тихий пердун, ничего в современной поэзии не понимающий. «Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле…» Да я думаю, что и Колю-то он не знает – так, ради красного словца упомянул!

– Ну, всё же Герой Социалистического Труда!

– А ты пишешь стихи?

– Пишу.

– Хорошо. Вот государство оценило его работу на благо государства и наградило его. Неважно, чем… Наградило высшею своей наградой. А вот ты поэт, ты оценил его вклад в литературу, в русскую поэзию? Нет!

– Что это?

– То это! Ты тоже мог его наградить! Как? Единственным доступным тебе способом – посвятить ему стихотворение! Ты ему посвятил? Нет! А посвятишь?

– Не знаю.

– А я знаю – не посвятишь. Потому что не удостоишь ты его награды. Тебе сколько лет?

– Двадцать пять.

– Ну это нормально. А мне скоро пятьдесят – это уже лишку. Так вот, запомни: стихотворение с посвящением это – награда, награда за поступок или за подвиг, и отнять эту награду нельзя. Такое посвящение навсегда. А то на днях вон приятель у меня: Вовке, говорит, посвящал, Ленке – посвящал, а Марику ещё нет. Посвящу Марику. Этакий подарок! Стихи-подарки теряют свою внутреннюю сакральную ценность. Ну так чего – раз Андрей просил, отведу тебя к Коле. Только позвоню им сначала. Зоя! – позвал Гена нашу официантку громовым голосом.

Зоя подходить не спешила, а когда подошла, Гена уверенно встал, взял её под ручку и сурово объявил:

– Мне надо срочно позвонить, дело не терпит отлагательств, проводи меня к служебному телефону, ты же знаешь – у меня особые полномочия.

– Ты что, Гена, с ума сошел? Если каждый будет со служебного телефона звонить, то тут не ресторан, а главпочтамт будет.

– Зоя, у тебя проблемы будут, – я заметил, как один глаз у Генриха стал медленно закрываться, а другой так же медленно вылезать из своих орбит. Видимо, это же заметила и Зоя, потому что она вдруг быстро-быстро запричитала:

– Пошли-пошли, быстренько-быстренько.

3

Через пять минут мы с Сагиром, имея на кармане полбутылки коньяку, шли к метро.

По пути он вводил меня в курс дела, а точнее вкратце описывал положение фигуры Коли Шаткова в современном литературном и политическом мире.

– Коля всем рассказывает, что он родился перед самой войной в доме на Котельнической набережной, хотя все знают, что этот дом построен

был после войны. Поэтому с ним никто не спорит: «мели Емеля – твоя неделя». Коля любит поговорить о сталинских временах, и при этом у него в словах звучит странный симбиоз: со страхом и уважительно. Вот как можно говорить о Лаврентии Берии с ненавистью и восторгом одновременно? А Коля умеет! И именно о Берии. Я даже однажды спросил у него – не грузин ли он? На что он ответил, что знает по-грузински немного и произнёс со смаком и выражением таким, что у меня даже слюни потекли: «хванчкара и киндзмараули». И сразу захотелось в Тбилиси. Ты бывал в Тбилиси? Ну, это не важно. Так вот: если про мать его что-то смутно и известно (то ли дворничихой, то ли уборщицей была и жила там, на набережной, в подсобном специальном помещении), то про отца его ничего конкретного никто не знает, но этот факт и является его охранной грамотой по сей день. Он на эту тему не распространяется, только улыбается, но мне кажется, что он тоже точно ничего не знает. Коля заканчивал школу в год смерти Вождя, а расцвет его мужественности падает на хрущевскую оттепель. Он рассказывает, что с обоими встречался. Да и с нашим дорогим Леонидом Ильичом тоже. Говорит: приглашали посоветоваться, я ему верю: таких – со странной репутацией да ещё немеркантильных и нетщеславных – любят вожди.

Сагир задумался, и мы некоторое время шли молча.

– Он безусловно талантливый поэт или версификатор, но не гений. Вот что интересно: мне иногда кажется, что за потомками и близкими родственниками наших замечательных государственных деятелей, да и за наследниками великих людей от науки, от искусства кому-то, какой-то структуре секретной и государственной приказано присматривать и помогать. Продвигают их, пристраивают на тёплые места, приглядывают, чтобы не попадали в неприятные, уголовно-наказуемые ситуации.

У меня на Арбате, в Серебряном переулке есть знакомая старушка, вдова адмирала Колчака. Она получает специальный кремлёвский паёк. Каждую среду эта старушка с соседом-пионером идет на Калининский, в Новоарбатский гастроном, и получает там довольно объёмные наборы разных дефицитных деликатесов, и это бесплатно. И все эти кульки пионер тащит ей домой; в виде награды она с ним пьёт чай из севрского или лиможского сервиза. Ну, не знаю – какой у неё там в горке стоит!

Так вот, мне иногда кажется, что за Колей Шатковым тоже кто-то очень внимательно и ненавязчиво присматривает, потому что всё, что с ним происходит, всё, что вокруг него случается, очень удачно складывается.

Живёт Коля в доме, построенном в годы социалистического конструктивизма эпигонами Корбюзье, и называется он в народе «Дом большевиков-каторжан». Жена его Изольда Владимировна Бимзе на двадцать лет его старше; она – хороший концертмейстер, великолепный педагог, работала профессором Пекинской консерватории по классу фортепиано, да вот – вернулась, и упал мальчонка к её ногам. Только, по-моему, работала она в Китае агентом под прикрытием, да и сейчас не пойму, чем она занимается: хренотой какой-то! Но денежной: делает куклы для театра Образцова, и бешеные бабки какие-то на этом зарабатывает. Детей у них нет общих, а вот у Коли…

Так мы пробирались по вечерней майской Москве, сначала на метро, а потом пешочком. Было тепло, непонятно откуда легким ветерком наносило дурманящий запах уже отцветающей сирени. К дому Шаткова мы добрались часам к десяти. Дом его чем-то напоминал утюг,

угольный утюг: редкие ещё не погасшие окна тускло светили, словно угли, горящие в утробе чугунного рабочего зверя.

– Давай постоим, покурим, – задержал меня Сагир. – Ночь прекрасная, дышится легко.

– А что, – спросил я, – у Шаткова не курят?

– Да ты что – курят. У Шаткова всё делают – это самая либеральная богема на свете. У Шаткова нет старших и младших, нет умных и глупых, нет трезвых и пьяных, нет России и Европы, нет ни дня ни ночи, нет разрешённой литературы и запрещённой. О! Вот это его новый конёк, и он тебя этой темой задолбает. Ну да ладно – пойдём, и запомни ещё – не стесняйся, и если он тебе предложит остаться ночевать, соглашайся. Здесь так принято, понял?

– Понял, стесняться не буду!

Пробирались к Шаткову в квартиру странным образом, и я заподозрил, что Сагир не хочет, чтобы я запомнил дорогу. Так, он мне показал на один подъезд, где живёт поэт, а провёл через другой, потом по застеклённой галерее, ведущей из здания в здание на уровне третьего этажа, а спускались на второй вообще на лифте. Потом Генрих мне объяснил логику своего маршрута: якобы на первом этаже шатковского подъезда коммунальная квартира принадлежит ВТО, и живут в ней молодые и талантливые начинающие артисты, режиссеры и театральные художники. И с того дня, как эту квартиру передали ВТО три года назад, так и по сей день в ней разыгрывается постоянный весёлый праздник. И день и ночь уже три года в ней ждут и встречают гостей, и Сагир опасался, что нам не удастся её проскочить.

На двери, которая нас интересовала, была привернута только что не позеленевшая от времени массивная латунная табличка «Поэтъ Николай Шатковъ» – с твёрдыми знаками на положенных им местах.

Квартира загадочного героя, к которому я стремился попасть, представляла собой вершину несуразности: это были две комнаты, и их мне хочется поподробнее описать. Первая – метров на сорок квадратных, была и прихожей, и кухней, вдобавок и с ванной, которую было видно из-за неплотно задёрнутой шторки, и мастерской. Одна из стен была занята стеллажом, забитым какими-то коробками, гипсами, тканями, банками, и огромным числом совершенно волшебных фантастических кукол: черти, цари Салтаны, волки злые и добрые и прочие «колобки». Примыкающий к стеллажу стол или верстак давал понять, что здесь, по всей вероятности, ежедневно работали; об этом говорили и две старых проржавевших электрических плитки для готовки столярного клея, и банки, набитые различными шпателями, и коробки, полные художественных кистей, и бумажные выкройки, и куски драпировок. В комнате стояла двухконфорочная газовая плита, небольшая кухонная разделочная тумбочка, гигантский обеденный стол, окруженный десятком массивных дубовых стульев, допотопный с полочкой для слоников и с валиками дерматиновый диван да несколько изрядно попользованных антикварных кресел. Были и ещё какие-то комоды и буфеты неопределённого назначения. Но главное: около окна, вовсе не скромничая и выбиваясь из общей тяжеловесной приземлённости, красовался и как бы даже купался в волнах прошлой жизни небольшой кабинетный белый беккеровский рояль. Пол был паркетный, фигурный, но уже повыбитый, на стенах эстампы, рисунки, современная живопись – по-видимому, подарки друзей. У окна, чуть облокотившись на рояль, стояла женщина и смотрела, как наплывает на Москву короткая майская ночь.

Подробнее описывать художественный беспорядок, царивший тут, не буду, а про вторую комнату расскажу далее.

4

Женщина, стоявшая у рояля, была костлявой, худой и некрасивой: маленькие бесцветные глазки без ресниц, впавший носик кнопочкой, ввалившиеся морщинистые щеки и широкие скулы, но осанка её и надменно-покровительственный взгляд говорили о некой внутренней породе, позволявшей этой женщине повелевать. Точнее, сталкиваясь с такими женщинами, мужчины им позволяют собою повелевать. Можно было два раза не повторять, что она профессор и ей за шестьдесят.

Одета она была в темно-синее глухое платье из какого-то тяжёлого материала, длинное, чуть не в пол, подпоясанное где-то под грудью и с закатанными рукавами. Она курила «Казбек» и лишь мельком взглянула на нас, а потом снова вернулась к майскому московскому закату.

– Гена, проходите, разувайтесь, раздевайтесь, садитесь, отдыхайте, сейчас будем чай пить. Коленьку ждать не будем, у него там занятия с очередной глистой.

Я снял ботинки и напялил на ноги какие-то стоптанные и протертые до дыр байковые бесформенные домашние тапочки. Генрих вообще стряхнул в угол свои шузы и прошел в комнату в носках, причем я заметил, что один у него был с дыркой. Я уже собрался сесть на диван, а Сагир закурить, когда хозяйка повернулась к нам и, подойдя, довольно церемонно протянула мне руку. При этом она очень скупо улыбнулась. Я взял её руку почему-то двумя своими и, глядя ей в глаза, тупо сказал:

– Федя!

Мне показалось, что она это восприняла как шутку. И тем не менее ответила, даже попытавшись попасть мне в тон:

– Это хорошо, Федя! Меня можете вообще никак не именовать – вы ведь к Коле пришли? Сейчас я поставлю чайник.

Тут Генрих вскочил.

– Изя, ну что ты? Нас попросил Андрей зайти, Федя из Горького приехал, он должен материал написать для Коли по просьбе Андрея. Может, мы не вовремя?

– Гена, ты знаешь, что в этом доме всё не вовремя и в то же время всё вовремя происходит, а если бы это было не так, то и дома бы этого не было. Так если вы в этом доме живёте, как хотите, то и мне дайте возможность жить, как я хочу. Вы все, Гена, не хотите понять или не понимаете, или понимаете, но делаете вид, что сами идиоты: ведь я единственная в этом доме, кто кормит, поит, любит вас, волнуется за вас, помогает вам, наставляет на путь истинный и радуется вашим победам, а вы этого не замечаете. Так пожалейте ж меня – я не прошу любви и нежности. Я чай буду пить. Доставай чашки, если будете со мной. Коля сейчас с очередной глистой своей разберётся и присоединится к нам.

В этот самый момент из дверей во вторую комнату, куда мы пока не заходили, выскочило, выпрыгнуло, нет – скорее всего, выпорхнуло нечто худенькое, неоперившееся, растрёпанное, в расстегнутой мужской рубахе огромного размера на голое тело. Размахивая руками, это нечто проскакало мимо стола, за которым мы уже расселись, и «профессор рояля», как я решил про себя называть хозяйку, уже разливала по чашкам чай. Увидев нас, оно только ойкнуло, улыбнулось и запахнуло рубашку.

– Тётя Изя, я – к шурику!

– Стой, – строго окликнула её «профессор рояля» и, достав из специальной фарфоровой шкатулочки, стоявшей на столе, лимон, разрезала его каким-то странным образом – не на колечки, а дольками, протянув одну этой растрёпанной бабочке, прыгавшей вокруг стола то на одной то на другой ноге. – На, угости ровесницу!

Я посмотрел на Сагира, тот попытался натянуто улыбнуться мне, прикрыл немножко свои выразительные глаза и незаметно кивнул, мол, «я потом объясню!»

– Изя, скажите: а кто такой Шурик? – спросил я, решив начать светскую беседу, но светской не получилось, потому что «профессор» ответила мне довольно резко:

– Федя, – она сделала ударение и паузу, – «шурик» – это туалет, он находится там же, где и ванная, за занавеской, лимонная долька – лучший способ контрацепции, им пользовались ещё в древнем Египте, она засунет сейчас её себе в канал и абсолютно нейтрализует все последствия сумасшествия, которое творится в этом доме последние годы. И я ничего не могу с этим поделать.

Гена вытащил из кармана нашу недопитую бутылку коньяка, громко брякнул её на стол, положил себе три кусочка сахара, лимонную дольку и удобно уселся, помешивая серебряной ложечкой в изящной царской чайной чашечке. Мне же почему-то расхотелось класть лимон в чай, и вообще у меня к лимону с тех пор какое-то двоякое отношение.

Создание выпорхнуло из-за занавески, что-то весёленькое напевая:

– Изя, мы будем с тобой сегодня петь? – спросило создание.

– Конечно! Только накинь на себя что-нибудь попристойней: я хотела сегодня поговорить об итальянцах XVIII века и попробовать разучить одну арию Копполы. А в таком виде… это невозможно! Гена, – обратилась хозяйка уже к нам, – вы зайдите с Федей к Коле, познакомь их, а мне надо ещё с этой дурёхой поговорить немного. И возьми сразу внизу в буфете бутылку молдавского «Саперави», а то он вас сейчас увидит и начнёт мне орать «дай вина». А коньяк оставь тут.

5

Вторая комната легендарной московской квартиры была поменьше, метров двадцати, и она радикально отличалась от той, где мы только что пили чай. Если в первой, несмотря на огромное количество старинных и тяжеловесных, просто от этого своего возраста, предметов и вечерний сумрак, физически ощущалось присутствие воздуха, и его хватало, то вторая показалась мне наглухо законопаченным колодцем.

До самого потолка по всем четырём стенам комнаты торчали корешки книг, книг и журналов. Стеллажи для них были даже над дверью, и вокруг окна, наглухо задраенного тяжелой красной бархатной шторой, и над широченным многоспальным диваном, служившим постоянной лежанкой для поэта. Кроме стеллажей и лежанки в комнате стоял большой письменный двухтумбовый стол на львиных лапах и с резными дубовыми львиными головами на дверцах. Стол был завален папками, бумагами, письмами, вскрытыми бандеролями, стоп-

ками книг и черт его знает чем. А ещё на столе умещались две печатных машинки с заправленными чистыми листами бумаги.

Я человек очень чувствительный к запахам, я их хорошо различаю, хорошо запоминаю, а также остро на них реагирую. Во второй комнате «пахло заграницей и поэзией». С заграницей я связываю все запахи парфюма, кроме «Тройного» и «Шипра», которыми обслуживали во всех парикмахерских страны. С поэзией я связываю все оттенки табачных запахов. Поэтический кабинет был крепко прокурен.

Поэт Шатков был крупным мужчиной лет сорока пяти. Кроме того, что он был жирным, он был ещё и бородатым и очень волосатым. Волосы у него были прямыми и жесткими, а потому торчали живописно и во все стороны, а борода была не просто лопатой, а лопатой и метлой одновременно. Поэт в черном шёлковом японском халате, расшитом драконами, сидел, скрестив ноги по-турецки, на своей лежанке, наполовину заваленной тряпками, журналами и книгами; он старательно набивал трубку.

Продолжая поглядывать на результаты своей только что проделанной работы, он протянул в нашу сторону руку, молча пожал Сагиру и, пожимая мне, спросил:

– Откуда?

– Я – Федор, я из Горького, мне Дудин рекомендовал с вами познакомиться.

– А этот старый развратник всё ещё жив?

– А почему – развратник?

– Потому, что развратник – это человек, понимающий, что занимается непотребными и несвойственными ему делами, стыдится этого и продолжает заниматься. Ну да черт с ним. А ко мне-то чего?

– А вчера Андрей велел мне посмотреть спектакль новый на Таганке, что-то написать про это и отнести вам.

– Во-первых, не выкай мне, мы тут все братья. Ну и что – написал?

– Нет пока.

– Ну так садись, пиши, вон на столе машинка. Нет – бери бумагу, ручку, я потом править буду.

Но тут вмешался Генрих:

– Коля, подожди, это всё потом. Сейчас у меня к тебе будет просьба. Ты знаешь, у меня приняли на радио сценарий пьесы, я получил гонорар, и хотелось бы мне небольшой праздничек устроить и пьесу почитать. Как – если у тебя? А? У меня ведь, в моей конуре, ты знаешь, как: семеро по лавкам и ни вздохнуть, ни продохнуть.

– То есть – прощальную, отходную?

– Ну почему прощальную?

– Потому что ты перешел в категорию людей, пишущих разрешенные тексты. Захотелось денег, славы, дачу, загранок?

– Нет, нет и нет. Ты глупости сейчас говоришь. У меня ещё и книжку приняли к изданию в «Детгизе».

– Ну вот, я и говорю: сценарий, детские стишки, потом песенки начнёшь писать с Шаинским. А потом, как Лёня Дербенёв или Володя Высоцкий, будешь дурачком прикидываться и всем жаловаться, что твои песенки за литературу не признают и в Союз писателей не принимают. А что, Гена, – поэзия побоку?

– Коля, ты не прав.

– Да прав я. Уши торчат.

– Какие уши?

– Такие уши! Кепочка торчит. Помнишь анекдотик – мамаша с утра пришла, спрашивает: «А кепочка где?» С другой стороны – тебе уже пятьдесят, и силы кончились, и талант пропил, и не сделал ничего.

– А ты-то что сделал?

– Я каждый день делаю. Я пишу для вечности, а не сценарий на радио.

– Глупости это! Михаил Афанасьевич одновременно и заказную пьесу про Сталина писал и «Театральный роман». Знал, что в стол.

– Не лукавь! Он пьесу-то писал, да только что-то получилось у него такое, что отказались её ставить. Ты «Батум» имеешь в виду, так её и сейчас никто не поставит. Так башка у него была устроена, он – гений, а не проститутка. Вот Леонов что-нибудь тоже в стол пишет, и Константин Михайлович тоже что-нибудь в стол пишет, да только не примет их вечность. Лукавые они были всю жизнь, писали разрешенные книги! Пусть не по заказу, но с оглядкой.

– Что же ты про них так зло?

– Я не зло – я их очень уважаю даже, между нами. А обидно: таланты ведь, а продались, потратились на мелочевку. Вот и ты тоже. Если бы ты бездарь какой-нибудь был, то я и говорить бы не стал. Чёрт с ними, с бездарями! А обмыть твои успехи – давай обмоем! Только гостей сам приглашай. Приглашай часиков на шесть, Изя стол соберёт. И чего вы стоите? Садитесь. Давай бутылку; Федя, сходи, попроси у Изи три чистеньких тонких стакана, освежимся.

Пока я ходил за стаканами, в кабинете произошло что-то существенное: хозяин кабинета на четвереньках полз по столу, раздвигая горы бумаг, к занавешенному окну. Добравшись до штор, он их зло раздёрнул в стороны, при этом всё время чертыхаясь и грязно ругаясь. Открыв окно, он так же на четвереньках, но уже задом, как рак, и оглядываясь, пополз обратно на свой диван. Но, даже добравшись до своего места, он не перестал ругаться. Усевшись, по-турецки свернув ноги, он оглядел нас, будто впервые заметил, и я увидел, какое красное у него лицо. На лицо Сагира я тоже обратил внимание: его большие круглые бычьи глаза выкатились из орбит и смотрели на Шаткова не мигая:

– Ты что делал? – спросил он.

– Уф, – ответил Коля, – неуютно у меня. Неуютно у меня стало.

– Что значит – неуютно? Мы что ли пришли?

– Не-ет! Вы – это как раз уютно. Уютно – это когда все, что тебе надо, всегда находится точнёхонько под рукой. Вот мне нужна сейчас Цветаева, я протянул руку не глядя, и… – Шатков сунул руку за спину и вынул со стеллажа книжку, – а это Ремизов. Вот я и говорю, что неуютно. Я совал руку в пять мест и даже на подоконник ползал, а штопора нет! Вот это и называю я «неуютно», когда под рукой штопора нет. Давайте там как-нибудь открывайте бутылку да наливайте, а то я уже волнуюсь.

Теплый майский вечер, три стакана красного вина, и где-то за дверью глухо, очень глухо распевается самый низкий контральто, бархатный, насыщенный. И откуда только в этой девочке? Вот бы не подумал.

Генрих ушел быстро.

6

– Федор, давай знакомиться так: ты садишься и пишешь рецензию, а я читаю твои вирши, давай это пока так называть. Потом я скажу, что делать.

Пока я разгребал на столе завалы бумаг и готовил рабочее место, Коля, засунув мою папочку со стихами под подушку, свернулся калачиком и, укрывшись с головой какой-то непонятной драпировкой, сладко с присвистом захрапел.

Рецензию, расплывчатую и ни к чему не обязывающую, на пять страниц я написал быстро: благо есть опыт журналистский и знакомы мне теории Таирова и Евреинова, которые спустя пятьдесят лет снова стали новомодными, и лучшие постановки на Таганке я видел – и «Десять дней», и «Антимиры». Так что когда в кабинет заглянула «профессор рояля» Изольда, я уже перечитал своё сочинение, поправил запятые и с удивлением разглядывал библиотеку моего нового знакомого. Тут было от чего открыть рот: если большинство названий книг и авторов мне и были знакомы, то количество вариантов их изданий на русском языке в Италии, Франции или в Штатах было мне неведомо и потрясло меня. Все эти журналы «Грани» и «Посев», многотомные издания Мандельштама, Гумилёва, Хлебникова и сотни брошюрок, изданных французским «Имка-пресс», – хотелось схватить их все сразу и читать целую ночь. В мозгах образовалось пространство неполноценности от сознания обилия неохваченного.

– Федор, пойдемте чаю попьём, и, если ты у нас остаёшься ночевать, то я тебе там уже расстелила на кресле. Ничего – там за ширмочкой уютно, у нас многие там спят.

В заварку были добавлены какие-то травы, и получившийся напиток был крепким, ароматным и жгуче-горячим, я чуть не захлебнулся после первого глотка и закашлялся.

– Он действительно гениальный поэт, но он даёт читать свои тексты только тем, кто ими восхищается, – Изольда с трепетом в голосе начала говорить. – Он терпеть не может какую-либо критику. У него постоянно просят стихи и журналы, и в «День поэзии», и на выступления приглашают, и книгу предлагают в «Советском писателе» издать, а он всем отказывает, хотя человек он отзывчивый и сердечный. Но это не касается его стихов. Про свои стихи говорит так: «Это что же – я напечатаюсь в каком-нибудь журнале, и любой борзописец будет их разбирать: что вот это он у Пушкина украл, а вот это надо было так сделать? Увольте! Мои стихи – это мои дети, и критиковать и разбирать их по косточкам я никому не позволю!»

Ведь у него надлом-то произошел в начале шестидесятых, ему было двадцать с небольшим, как тебе сейчас. С его ведома или без – никто этого уже не докажет – во Франции вышла его книжечка стихов, и скандала с жуткими обвинениями, которые были предъявлены Борису Леонидовичу, удалось избежать только потому, что за Колю горой встали Симонов и Михалков. Как уж им удалось весь тот ужас замять, не знаю, только Коле три месяца в психушке пришлось пролежать. После психушки-то про него всякие сплетни и начали слагать. Что там в этих сплетнях правда, а что враньё, – никто не знает, а Коля об этом не любит говорить.

Вот говорят, что он готовил для «Москвы» адаптированный вариант «Мастера» по просьбе Поповкина, а я знаю, что этого не было, хотя распечатанные «купюры к роману» расходились по всей стране из этого дома, и я это тоже знаю. Также и то, что он готовил по просьбе Константина Михайловича издание «Романов» Булгакова – чепуха; правда, Симонов пару раз ему звонил. Недавно он в альманахе «Метрополь» отказался участвовать: говорил, что это – реклама некрасивая и кое для кого

нужная. Посмотрим, что из этого альманаха получится. Так что вокруг Коли много вранья – не бери это в голову.

А последние лет пять с ним действительно что-то случилось: перестал из дома выходить. Нет – физически с ним всё в порядке, здоров как бык, и даже девки к нему ходят и радуются. Только выползает он из дому раз в месяц, до почты и назад. Ну, раз в полгода на встречу какую-нибудь в ЦДЛ или во французское посольство на прием торжественный со столичной интеллигенцией. А вот у нас здесь квартирники начал каждую неделю устраивать: и музыкальные, и художественные, и читки рукописей.

Так что и с головой у него всё в порядке, и с физическим здоровьем, и от поклонниц-учениц тоже отбоя нет. Не поверишь, Федя, за три года две родили, а я приданое покупала, из роддома встречала. А на аборты так я замучалась деньги давать да к своей знакомой-гинекологу отправлять. Так еще и в Коктебеле, куда мы каждый сентябрь ездим, тоже у него сынок появился: хозяйка-татарочка, у которой мы постоянно останавливаемся, разродилась. Нам, правда, не говорит, что это наш, но я же чую! Коля так радуется, когда эти козочки восторженные беременеют, а потом даже рожают, а детей он терпеть не может.

Проснулся я поздно от головокружительного тошнотворного запаха горелой органики и сразу сообразил, что это, должно быть, столярный клей. Босиком и в трусах бросился я к рабочему Изольдиному столу, где на плитке стояла консервная банка, из которой валил вонючий дым. Ликвидировав эту небольшую проблему, я открыл окно и вместе с остальной живой природой возрадовался солнцу, теплу и весне.

Тут и Изольда появилась с двумя экзальтированными восторженными девочками-подростками, эдакими козочками, если и не точными копиями вчерашней, то такими же молодыми и радостными. Все трое были обвешаны кульками и авоськами. Они стали собирать на стол, но попить чайку мне с ними не удалось: послышался громкий окрик Коли из его кабинета:

– Федор, давай сюда.

Когда я зашел к нему, он так же, как и вчера, сидел на своей лежанке и старательно набивал трубку.

– Всё нормалёк, Фёдор. Твою рецензию я чуть подсократил и подправил, перепечатаешь её на машинке и отнесёшь в журнал «Театр». Знаешь где?

– Нет.

– Я сейчас объясню. Подпись не ставь. У них там, в журнале, моя трудовая книжка лежит, и я должен им раз в месяц какой-нибудь материал сдавать, а уж напечатают они его или нет – меня не касается. А вот что мне со стихами твоими делать – не знаю! Ты сам-то что думаешь о своих строках? Чего ты от меня-то хочешь?

– Не знаю – мне велели с тобой познакомиться. Вот и всё. Познакомиться, чтобы понять, что такое поэт. Ну и печататься хочу.

– Ах, так ты печататься хочешь? Ну, так это к поэзии никакого отношения не имеет. Это – литературщина. Иногда – литература. Только не поэзия. Поэзия – это когда ты сумеешь создать свой собственный мир со своими понятиями о правде, о красоте и главное – свой язык. Ты женат?

– Женат.

– Вы с ней друзья?

– Друзья!

– Ну так измени своей жене! Только измени так, чтобы она узнала. Или дай в морду милиционеру на улице, или… Ты бывал в вытрезвителе?

– Нет.

– Ну так для начала побывай в вытрезвителе. Создай себе проблемы. Поэта без проблем не бывает. Поживи у меня несколько дней, присмотрись – может, что-то поймёшь. А печататься – вот, я отобрал у тебя четыре стихотворения, поправил кое-как, перепечатай их набело и отнеси прямо сейчас в «Сельскую молодёжь» к Лёне Вьюнку, Вьюнок напечатает. Скажешь – от меня. Только пообещай ему какой-нибудь подарок: рыбный набор хохломской, они сейчас прямо балдеют от этих идиотских деревянных ложек. Без подарков они незнакомых авторов не печатают, даже очень хороших. Как туда доехать: и в «Театр» и в «Сельскую молодёжь» спроси у Изи, она тебе объяснит. А потом возвращайся – я тебя вечерком познакомлю ещё кое с кем. Я и сам почитаю новенькое – послушаешь.

7

Я успешно справился со всеми заданьями Шаткова, перекусил в каком-то буфете и, когда вернулся, подготовка к вечеру была уже закончена: на столе стояли тарелки, стаканы, вино, водка, минералка, незамысловатые закуски, в двух старинных бронзовых пятирожковых канделябрах торчали незажженные свечи. Дверь в кабинет была открыта, Коля сидел в халате на своей лежанке и командовал:

– Изя, Изя, кресло для Сагира поставь в торец стола, я потом выйду, я его облажать хочу.

– Может, не надо сегодня тебе? И без тебя желающие найдутся.

– Нет, нет – посади его в торце.

Девочек-козочек уже не было. Я отчитывался о проделанной работе Коле, когда раздался звонок в дверь, и тут же послышался низкий и глухой голос умирающего, голос умирал и грохотал одновременно:

– Изя, спаси меня, я сейчас кончусь. Похмели, дай хоть глоток.

– Глеб, тебе сегодня сюда нельзя. Нет у меня ничего для тебя.

– Изя, дай трешницу, ты меня знаешь. Где Коля?

– Коля отдыхает, к нему нельзя. Глеб, нельзя, сейчас Сагир придёт, вы с ним снова подерётесь.

– Обещаю – драться не буду.

Я вышел из шатковского кабинета, и в этот момент крупный мужчина в сером пальто с красным кашне, дважды обернутым вокруг шеи, легко отодвинув в сторону Изю, подошел к накрытому столу, взял бутылку водки, налил себе стакан и в три глотка выпил. Я обратил внимание, что у него правой руке не хватает мизинца. Взгляд его был безумен, это было видно даже сквозь его большие плюсовые очки. Но уже через мгновение, после того, как он поставил стакан, его отпустило и в голосе появились нотки жизни:

– А у вас снова праздник. Умеете вы тут, в столице, жить.

– Глеб, иди сюда, поздороваемся, – позвал его Шатков.

– Иду, старик, иду.

С этими словами новый гость налил себе ещё полстакана водки, выпил, заел печенинкой из вазочки и совсем уже нетвёрдой походкой

направился в кабинет. Он грузно повалился на Колину лежанку рядом с ним, обнял его за плечи и молча затих. Они просидели с минуту; волосатость Глеба была такая же обильная, как и у Шаткова, и чудно́ было видеть, как декоративно перепутались их волосы, прямые и черные Колины и шапка кудрявых и русых нового гостя. Через минуту Шатков отодвинул Глеба и спросил:

– А расскажи – что у вас произошло с Иосифом, как у него там, в Америке?

– Там всё противно. Прислал он мне какой-то журнал ихний, «Лук», что ли. Там на обложке – Иосиф голый сидит на пляже в лежаке, титьки волосатые, брюхо, барахло всё это его висит, как сморщенный индюшачий клюв, и радостный весь такой. Это что же он там голый фотографируется за деньги, как проститутка? Стыдно же. Или совсем уже жрать не на что? Не знаю, только я на последние два письма ему не стал отвечать. Меня вон в КГБ вызывали – тоже сказали: или в «Метрополе» печатаешься, или орден дадим. Я согласился на орден. Только что-то не дают. Орден – тоже стыдно, но не так.

– Я это понял, когда он ещё улетал, что он там вынужден будет проституировать. А сам – как?

– Сам? А я тут у тебя останусь спать.

– Нет, Глеб, не получится. Сейчас Сагир придёт, а у вас с ним контры неразрешенные пока. Не получится. В другой раз – пожалуйста, а сегодня – увы.

– Да я вот тут у тебя половичком завернусь, и меня ни одна сволочь до утра не разбудит.

С этими словами гость скинул с себя башмаки и, как был в пальто, завалился к стенке, завернулся в байковый плед с головой и, свернувшись калачиком, захрапел. Коля попытался его теребить и трясти, но из этого ничего не получилось.

Гости собрались вовремя, человек десять, все поэтической наружности, все мужики, кроме одной дамы, которая тоже смахивала на мужика. Мне вспомнились две очаровательные непосредственные утренние козочки, да и вчерашняя «глиста» была лучше и естественнее. Коля с хмурым видом в своём тяжелом японском халате ходил между гостями, со всеми меня знакомил – я ни одного имени не запомнил. Что-то наносное, болезненно-сладкое показалось мне в этой тусовке, в их возвышенно-надуманном общении: «здравствуй, мой милый!», «здравствуй мой хороший!», «ты – гений!», «вчера было лучше!». При этом – зависть, обида, невостребованность, смешанные с высокомерием, ложной многозначительностью, и всем этим была пропитана атмосфера комнаты, пока они трепались ни о чём, но, как им казалось, о чём-то безусловно важном.

Они выпивали, курили, хохотали, пока Сагир повелительно не встал из-за стола и не постучал вилкой по бутылке. Тогда только все расселись: кто на кресла, кто на стулья возле стола.

– Слушайте: я, пожалуй, почитаю, а потом вы мне честно скажете, что вы об этом думаете. Пьеса уже принята на радио, но исправить я ещё что-то смогу.

Генрих начал читать, а я постарался незаметно смыться в кабинет, где зажег слабенькую настольную лампу и взял папку со стихами Шаткова. Глеб из-под пледа тихонько посапывал и постанывал во сне. Дверь из кабинета в гостиную я прикрыл неплотно, и было хорошо слышно, как Генрих читает поставленным голосом, соблюдая нужные

паузы. Я не слушал, да и стихи Шаткова мне почему-то читать расхотелось, я просто сидел. В какой-то момент Глеб вдруг привстал на своей кушетке, он что-то невнятно пробурчал и потянулся так, что я услышал, как трещат его сухожилия.

– Вот и я!

Теперь я уже разобрал, что он бормотал с полусна.

Не обращая внимания на меня, он надел свои ботинки, двумя руками поворошил свою гриву на голове и подошел к полуоткрытой двери. Он недолго прислушивался, просто передохнул, и вышел к гостям, широко распахнув створку.

– Ну и барахло же всё это. Всё, что вы пишете, – барахло!

Ни с кем не здороваясь и ни с кем не прощаясь, он прошел мимо собравшихся, оставив распахнутыми двери и в кабинет, и в коридор.

АФРИКАНСКИЙ СЛЕД

Александр Ильич Ниточкин считал себя мордвином, представлялся всем по-модному автохтоном и очень городился этим. Потому что мордва – самый что ни на есть коренной народ, который живет на своих землях с незапамятных времён, можно сказать, народ-абориген. Александр Ильич мог бы вспомнить период своего повышенного политического интереса к жизни, это в начале девяностых, когда в Казани стали поговаривать о суверенитете и независимости Татарстана. Ниточкин стал внимательно следить, как к такому мероприятию отнесётся Саранск, но там почему-то замолчали эту важную инициативу татар. Он даже сходил в районную библиотеку и осторожно выяснил в энциклопедическом словаре, что такое суверенитет. Идея была простая, понятная и понравилась Александру Ильичу, хотя, когда он выступал на последнем колхозном собрании, ума у него хватило про суверенитет не заикаться.

По всем параметрам Александр Ильич был самым обыкновенным деревенским мужиком. С грехом пополам он окончил сельскую школу, потом – армия, после армии тридцать лет в колхозе на тракторе. А как колхоз развалился, устроили его по блату сторожем в районный музей-заповедник. Работа – не бей лежачего.

Музей-заповедник – это приличная по размерам огороженная территория с барской усадьбой, подсобными помещениями, парком и с прудами. Дежурит ночным сторожем он посменно с Петей, научным сотрудником музея из городских, который так подрабатывает, а живет в общежитии. Дел у Ниточкина как у сторожа немного: вечером проверить, все ли ключи сданы и все ли службы на территории под замком; помещений этих, под замком, семь. Попозднее надо обойти территорию и посмотреть, не забрались ли пацаны карасей в господских прудах половить и не развели ли костра где, на ночь включить сигнализацию да дремать около телефона, а утром сдать объект дежурному экскурсоводу – всё просто.

Дома тоже забот у него немного: жену давно похоронил, зять недавно в тюрьму сел за пьяную драку, и живет Ниточкин теперь с дочкой да с внучкой в пятистенке крепком, участок пятнадцать соток с огородом и садом, да ещё пятьдесят соток есть под картошку.

Первый год Ниточкин очень гордился, что работает в усадьбе, где жил великий поэт Пушкин. Придет утром со смены домой и рассказывает дочери: «Вчера японцы приезжали, маленькие такие, лопочут что-то весёлое, но ничего не понять». На следующий день с утра приходит и рассказывает: «Теперь индусы приезжали, маленькие такие, меньше японцев». На второй год он освоился и стал с Пушкиным как бы на ты. Стал Ниточкин по вечерам подходить к портрету поэта, висящему в

коридоре, и разговаривать с ним: «Ну и урод ты, братец! И что на тебя девки вешались? А я бы тебя, наверное, тоже убил, если бы ты к моей стал подкатываться». Он не очень хорошо понимал, за что убили Пушкина и именно так трактовал его гибель. Потом он шёл в кабинет, где висело зеркало, вставал напротив и разговаривал с собой: «А ведь ты, братец, тоже урод приличный. И даже похож на хозяина усадьбы, если пальцами оттопырить уши и высунуть язык». Он оттопыривал себе уши руками, высовывал язык и вытаращивал глаза. «Похож, похож!» – приговаривал вполголоса, потом вспоминал, что ему уже скоро шестьдесят, становилось стыдно, и он шел спать.

Надо сказать, что Ниточкин мужик сручный: и когда при тракторах был, всё у него всегда крутилось и работало, и на ферме переделал доильные аппараты так, что коровы только что в очередь к ним не вставали. Конечно, мышеловку в телевизор он переделать не смог бы, но дома у него чудеса встречались. Над керосиновой лампой крыльчатку, вертушок такой поставил, и тот у него как динамо-машина работает, мобильник заряжает.

И к себе, и к людям он без особых фанаберий относился: мог и в грязном ватнике по селу пройти, руки в солидоле, гаечный ключ из кармана торчит. Мог пьяненький под кустом заснуть: летом никто не потревожит, а зимой люди добрые растолкают и до дому помогут добраться.

В общем, много было качеств, по которым Юрий Александрович, директор музея, взял его к себе на работу сторожем. Не брать же отдельно электрика, отдельно плотника и особо слесаря-сантехника, каждый день неполадки в хозяйстве, а тут все в одном лице. К тому же Ниточкин звал директора просто Юркой, потому что знал его Александр Ильич с бесштанного возраста и приходился он ему каким-то троюрдным племянником по сватовству. Опять же не мог директор выпивать с научным персоналом или с экскурсоводами, а со сторожем – пожалуйста. Это Юрий Александрович зарубил у себя на носу с комсомольско-райкомовских времён, где он начинал свою карьеру, а потому и предпочитал выпивать в подсобке, в сарае или в гараже.

Год работает сторожем Александр Иванович, два работает – социальный статус его не меняется: выпивает, рукодельничает, с мужиками спорит, с бабами ругается. Только вдруг стал он замечать, что по вечерам, а уж ночью-то и говорить нечего, стал он плохо видеть. Слабнуть, что ли, зренье начало – просто физически стал он чувствовать, что устает что-нибудь разглядывать подолгу в темноте. Посоветовался он со сменщиком своим Петром – вроде человек и образованный, и городской, и не заинтересованный в гадостях, – Петр сказал, что надо обратиться к врачу. Посоветовался он с дочкой, посоветовался с директором Юрием Александровичем, и те в один голос говорят – езжай к врачу.

Директор сам дозвонился до областного министерства здравоохранения и договорился о приеме Ниточкина в определённый день в специальной больнице, где лучшие врачи-офтальмологи работают. Всё согласовали, всё решили, взял Ниточкин вещички кое-какие, вдруг в больницу лечь придётся, и поехал в центр. Денег он сумму приличную на всякий случай прихватил, хотя заранее и было обговорено, что все операции, даже самые сложные, будут сделаны по социальным квотам: уважали директора музея в областном правительстве. С тяжелым сердцем ехал Александр Ильич на эти глазные консультации. Одно

утешило в день отъезда: не пришлось трястись в автобусе, поехали на новенькой «Волге-Сайбер» вместе с директором, которого тоже по делам вызвали в центр.

А вот в больнице что-то не сложилось: профессор Глазков хвалёный, к которому Ниточкин должен был попасть, куда-то уехал и должен был появиться только к вечеру. Тем не менее Александра Ильича проводили в палату, указали тумбочку, койку и велели готовиться к осмотру. Он переоделся в домашнее, благо дочка все ему собрала. А через совсем непродолжительное время сестра отвела его в смотровой кабинет, где заполнила лечебную карту, расспросив у Ниточкина обо всех его проблемах

– Вас будет сейчас смотреть профессор Масловский. Вы не глядите, что он молодой, – он уже докторскую диссертацию защитил и каждый месяц на неделю летает в Австрию лекции читать и операции делать.

Александр Ильич панически боялся врачей, где бы он с ними не встречался: в больнице ли, за столом ли праздничным, на рыбалке ли с удочками рядом стоял – он просто немел от страха. Профессор Масловский был действительно очень молодой, лет сорока, и очень смешливый. Он с улыбочкой поздоровался, с улыбочкой усадил Ниточкина за какой-то станок и с улыбочкой завершил разговор с молоденькой интересной медсестрой, которая продолжила готовить свои подсобные препараты и инструменты.

– А что вас, Александр Ильич, беспокоит? – спросил он у Ниточкина.

– Да плохо по ночам видеть стал, – ответил Ниточкин.

– А что – раньше хорошо по ночам видели?

– Нет, и раньше я, как все, ночью плохо видел, но теперь и вечером, в сумерки, очень плохо вижу. Точнее, вижу-то я так же, как и раньше, но устают глаза, напрягаться приходится. А если долго, так и болеть, и слезиться. В общем, что-то не так!

– Давайте пристраивайтесь поближе к моему агрегату, – профессор помог Ниточкину правильно положить голову на станок с подставкой для подбородка и с окулярами. – Теперь, если вам удобно, глядите на ёлочку, которую видно вдали, в центре экрана, а я посмотрю, что у вас там случилось.

Молчаливое исследование продолжалось довольно долго.

– Настя, – позвал доктор свою интересную ассистентку, которую Ниточкин принял за медсестру, – посмотрите! Вам как начинающему медику надо это увидеть хотя бы раз в жизни. Это – то, о чём я рассказывал вам вчера, и чему будет посвящен мой доклад на ближайшей конференции. Я ведь за свою практику не одну тысячу глаз видел, и если в Европе мне такое явление хоть и редко, но встречалось, то у нас в городе – в первый раз. Хотя я думаю, что в ближайшее время эта картина резко поменяется. Я этот эффект называю – «африканский след» и попытаюсь его объяснить.

Доктор усадил Настю на своё место, и та стала так же внимательно изучать Ниточкина, как минутой раньше это делал профессор. А профессор тем временем что-то говорил, и Ниточкин пытался понять – ведь это о его проблемах говорят.

– Настя, вы видите, что повышенное содержание меланина в организме – налицо. И линия радужки зубчатая, типичная для негроидной расы, у европеоидной расы она должна быть овальной, как у ромашки. Для меня совершенно непонятная ситуация: белая пигментация кожи, почти голубые глаза и такая радужка. Скажите, Александр Ильич, –

обратился профессор к Ниточкину, – а ваши родители или дедушки с бабушками в Африке никогда не работали?

– Нет, что вы, профессор! Мы деревенские, из Большого Болдина, а бабушки с дедушками из Пикшени да из Черновского. Это рядом.

– Большое Болдино – это где Пушкин, что ли, бывал?

– Да, да – Пушкин у нас жил, – подтвердил Ниточкин, и тут его осенило, о чем говорил профессор своей ассистентке.

– Александр Ильич, – продолжил доктор, – мы вам поможем, проблема разрешима, только вам придётся у нас задержаться на пару дней. И к тому же профессор Глазков хотел вас посмотреть, он через пару часиков подъедет. Настя, а ты померяй у Александра Ильича давление глазное, заполни формуляры и выясни, свободны ли завтра лазеры. А потом размести его по-человечески.

Дальше профессор Масловский с Настей ещё поговорили минут пятнадцать, но уже на совсем тарабарском научно-медицинском языке, и из этого разговора Александр Ильич ничего не понял.

Из палаты, как только ушла Настя, Ниточкин тут же по мобильному телефону позвонил своему директору, Юрию Александровичу

– Юрка, ты ещё не уехал?

– Нет. А что?

– Я с тобой поеду.

– А что – тебя уже отремонтировали?

– Нет, но мне надо с тобой посоветоваться.

– Хорошо, я за тобой заеду через час, позвоню из вестибюля.

Директор приехал даже быстрее, чем обещал. Александр Ильич ждал его уже в приемном покое с пакетом в руках.

– Что у тебя случилось? – спросил директор у Ниточкина.

– Давай поедем скорее, я по пути тебе всё расскажу. А то я боюсь, что захомутают меня сейчас и всё испортят, а для тебя ох как важно теперь иметь мен в таком виде, как я есть. Поехали!

– Нет, ты мне сначала всё скажи. Что же я как дурак договариваюсь с министром, чтобы моего ответственного работника посмотрели лучшие специалисты, он главных профессоров срывает с графика, чтобы тебя исследовать, а ты тикаешь! Раве так можно? Как я буду в глаза смотреть людям? А в следующий раз как я буду обращаться? Давай рассказывай всё по порядку.

– Пойдём, я тебе в машине всё расскажу. В общем, так: я – потомок Пушкина. А по какой линии – не знаю. Это ты должен выяснить и защитить на мне диссертацию. Нашёл молодой профессор, который сейчас за профессора Глазкова пока, у меня в глазу какой-то африканский след и стал он у меня выпытывать, не были ли у меня бабушка или дедушка африканцами, но я смолчал.

– А чего смолчал-то? Сказал бы, что вот были у меня бабушка с дедушкой разведчиками в Конго.

– Ты всё смеёшься, а я тебе скажу так: наши старухи-экскурсоводши стесняются говорить правду, а тут недавно экскурсия из Москвы была, и вёл её молоденький такой паренёк, учёный тоже. Так он рассказывал, что кучер Пушкина Михей Сивохин чуть ли не кажинный день девок Пушкину приводил. А это значит, что я прямой потерянный потомок нашего великого Александра Сергеевича. Этот факт нам надо с тобой зафиксировать.

– А зачем нам с тобой это фиксировать? Ты что, хочешь претендовать на усадьбу, что ли?

– Да нет! Вот ты чудо-юдо! Ты понимаешь, как к нашему музею будут относиться экскурсанты, когда будет известно, что работает в нем прямой наследник Пушкина? Вот когда правнук Пушкина к нам в Болдино приезжал, сколько разговоров было. Ты меня с ним должен познакомить.

– Умер уже Григорий Григорьевич Пушкин.

– Ну так я теперь есть – живой-здоровый, и каждый день в Болдино.

– Прямой наследник Пушкина в своей фамильной усадьбе сторожем или сантехником работает! А кем же ты теперь будешь себя обзывать: мордвином или эфиопом?

– Ну, работать я буду, как раньше, сторожем, а проведешь по документам ты меня как заместителя директора, для солидности. А мордвин наследником Пушкина спокойненько может быть.

– С должностью твоей – не проблема, мы её решим, а вот доказать твоё прямое родство с Александром Сергеевичем ещё предстоит. Может, ты потомок Льва Сергеевича, он тоже у нас в Большом Болдино похозяйничал. Это надо заявку в областной архив делать и всерьез тебе заняться своей родословной. Там, в архиве, сотрудники умные и всё-всё про тебя раскопают.

– Так зачем это мне-то надо? Это ты должен всё выяснить и диссертацию защитить на мне. А я – лишь наглядный экспонат. А если я сейчас останусь тут, в больнице, они мне завтра и хрусталик поменяют, и силикона в глазное яблоко зальют, как девкам в титьки. Только им для твердости, а мне для прозрачности. И сеточку какую-то лазером приваривать будут. А я не уверен, что они вообще умеют варить, вот Ванька с базы, тот сварщик от бога, а тут в глазу, да ещё в моём, – не знаю, что они там сварят. Вот я слышал от наших ученых экскурсоводш, что в архиве есть полная запись рассказов Ивана Киреева, который с Михеем Сивохиным был знаком, и хорошо бы, если бы ты её послушал.

– А зачем мне её слушать?

– Так там все девицы, с которыми Пушкин был, перечислены!

– Во-первых, все воспоминания Кузина о Михее Сивохине у меня есть, а во-вторых, Пушкин сам составил список всех своих приключений на любовном фронте, и называется всё это «Донжуанский список Пушкина». Его опубликовали ещё до революции. А в тридцатые годы о нем написал Петр Губер целую монографию. Исследовали его до нас с тобой сотни людей, и все симпатии нашего гения известны – там сплошь княгини да графини. Тем не менее, надо в архив заказать, чтобы составили твою родословную – может, оттуда чего-нибудь выплывет.

– Чего-то я не верю в графинь да в княгинь-то – на фиг им нужен такой урод! Мне кажется, что в таком списке у Пушкина должны быть большей частью девки крепостные. Ну, так я думаю.

– Я тоже так думаю, тем более что в Большом Болдине и в пушкинские времена крепостными крестьянками одни мордовочки были, а это же особый смак. А теперь давай вернёмся к профессору Глазкову.

– Это зачем же? Мы же решили.

– Ну вот, мы решили, а значит – пусть профессор Глазков зафиксирует существование в тебе африканского следа. Чтобы потом нам спокойно работать.

– Ну пошли!

Профессор Глазков уже подъехал. Был он похож на настоящего профессора: в голубенькой спецовочке, в голубенькой шапочке, в очках и с бородкой. Ниточкина и директора музея-заповедника он просто разочаровал:

– Мой ученик профессор Масловский хороший специалист и прекрасный хирург. Завтра он будет делать вам операцию. Но он ещё и большой фантазёр: так он с молоденькими сестричками заигрывает, на ходу делает открытия, глядя в глазное яблоко. А линия радужки у нас у всех одинаковая: и у русских, и у африканцев.

Операцию Александру Ильичу сделали удачно, и видит он теперь значительно лучше.